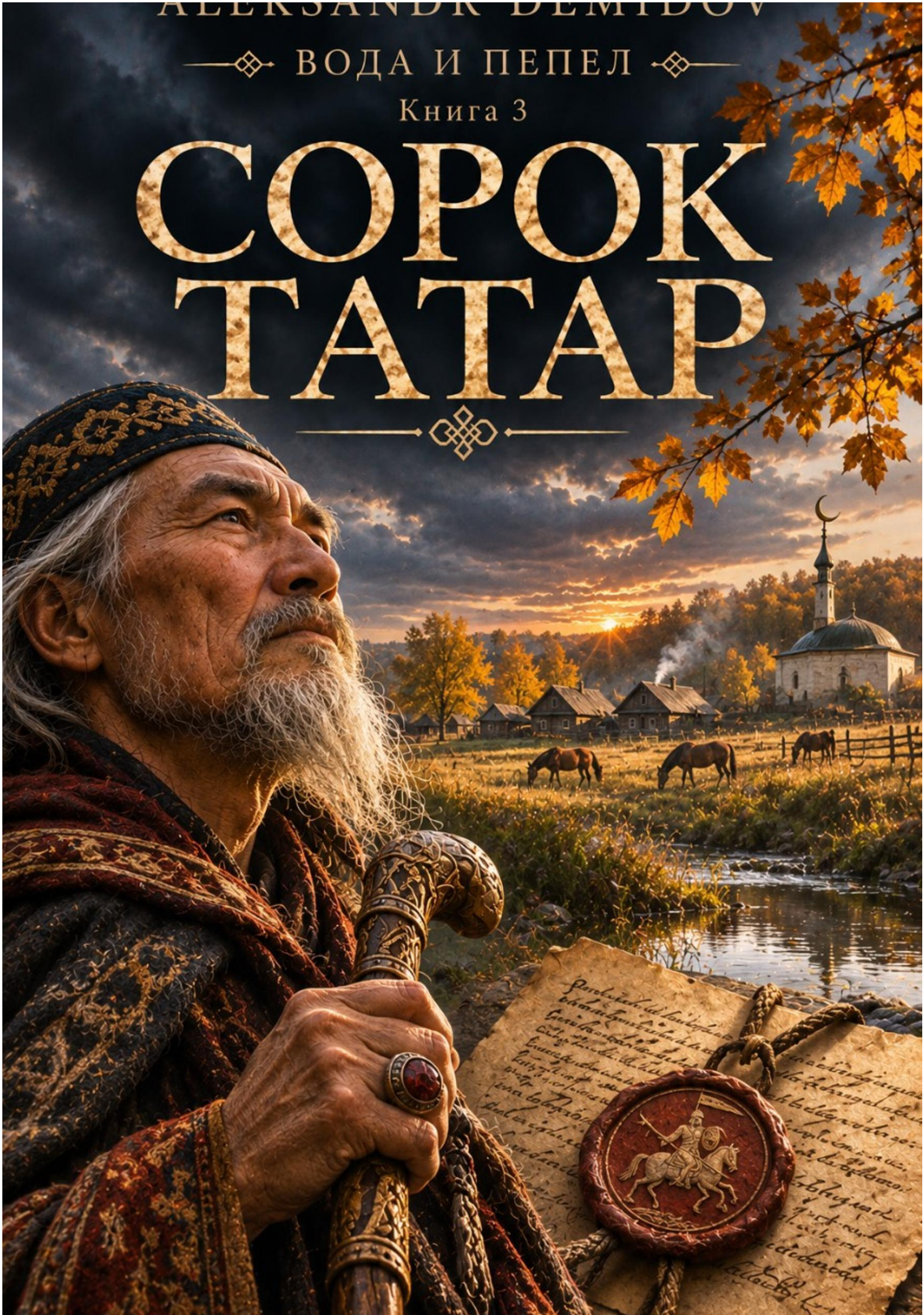
ALEKSANDR DEMIDOV

ВОДА И ПЕПЕЛ

Книга 3

СОРОК ТАТАР



Aleksandr Demidov

Сорок Татар

«Автор»
2026

Demidov A.

Сорок Татар / A. Demidov — «Автор», 2026

Сколько правды можно принести в жертву, чтобы спасти будущее своих детей?1462 год. Великое княжество Литовское. Более шестидесяти лет назад татары получили здесь землю за военную службу. Теперь их потомкам предстоит заново доказать своё право на неё.Старый Бури — один из последних, кто помнит, как всё начиналось. Но для восстановления земельных грамот одной человеческой памяти недостаточно. Нужна история, которой поверят власти. Даже если такой истории никогда не было.Перед Бури встаёт выбор: сохранить правду о прошлом или обеспечить будущее своего народа.Когда-то его дед пытался уберечь веру и память предков. Теперь самому Бури предстоит решить, что действительно стоит оставить потомкам.«Сорок Татар» — исторический роман о цене правды, человеческой памяти и рождении легенд, переживающих своих создателей.Заключительная книга трилогии «Вода и пепел».

© Demidov A., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 6
Глава первая. Полдня пути 7
Глава вторая. Легенда 9
Глава третья. Сундук 11
Глава четвёртая. Двое 14
Конец ознакомительного фрагмента. 15

Aleksandr Demidov
Сорок Татар

Aleksandr Demidov
Вода и пепел. Книга 3
Сорок Татар
Роман
© Aleksandr Demidov, 2026

Пролог

Осенью, когда лист уже сошёл, а снега ещё не легло, к деревне Сорок Татар подъезжает человек с бумагой.

Он не спешит. Дорога от Тракая полдня — так её и меряли, когда деревню ставили: чтобы конница была под рукой, чтобы поспела к городу за один переход. Меру эту клали шестьдесят с лишним лет назад люди, которых уже нет, для войны, которой уже нет.

Конь идёт шагом. Возный не воин, спешить ему некуда.

По правую руку тянутся поля, убранные, чёрные, и над ними стоит тот низкий свет, что бывает только в эту пору — когда солнце уже не греет, но ещё показывает. Дворы лежат вдоль дороги некучно, каждый со своим огородом, со своим колодцем, с плетнём, латанным в трёх местах. Дым идёт ровно. Собаки брешут лениво, для порядка.

Место как место. Таких по дороге от Вильни до Тракая — с десяток.

У края деревни, где начинается лес и куда дорога не идёт, бьёт родник. Он бил здесь до деревни и до дороги, и до того, как эту землю кому-то дали, и никакого имени у него нет.

Возный его не видит. Ему туда не нужно.

Он въезжает во двор к старшему, спрашивает воды коню и, напившись сам, достаёт из-за пазухи лист.

На листе написано, что к Филиппову дню всякому держателю надлежит явить грамоту на свою землю.

Глава первая. Полдня пути

Бури услышал про бумагу третьим.

Не потому, что от него скрывали, — просто он сидел в тепле, а весть шла по дворам с той стороны, где люди ещё ходили быстро. Сначала к Сафару, у которого возный поил коня. От Сафара к сыновьям. От сыновей — по деревне, обрастая по дороге, как обрастает всё, что несут в четырёх ртах.

К нему пришёл младший, Ислам, — сын среднего сына, лет двадцати, рослый, ещё не остывший от бега.

— Деда. Земли переписывают.

Бури сидел у огня. Он теперь всегда сидел у огня — не от холода, от привычки, которая пришла лет пять назад и осталась. Огонь был маленький, домашний, в очаге, и глядеть в него было нечего, но он глядел.

— Кто?

— Возный от воеводы. С листом. Грамоты велит казать.

— Каждому?

— Всякому держателю. К Филиппову дню.

Бури кивнул и ничего не сказал.

Ислам постоял, ожидая тревоги, — он бежал сюда с тревогой и хотел её отдать. Дед тревоги не взял. Он смотрел в огонь, и лицо у него было такое, будто ему сказали, что зима будет холодная.

— Деда. У нас есть грамота?

— Есть, — сказал Бури.

И этим кончилось.

Он не солгал. Он помнил, как её давали.

Ему было около двенадцати. Они уже перезимовали на этой земле, когда княжеские люди приехали закрепить надел за службу. Он помнил не грамоту, а день: конных во дворе, чужую речь, писаря под навесом, старших, стоявших как просители. Кого-то записали, кого-то нет, и это долго обсуждали потом.

Его самого тогда записали чужим именем, третьим, на здешний лад.

Он помнил, как дед в тот вечер сидел лицом на восход и не пошёл смотреть.

Грамота была. Это Бури знал так же твёрдо, как знал, что у него две руки. Где она теперь — не знал, но это его не пугало. В доме есть сундук, в сундуке лежит то, что кладут в сундук. За полвека ничего оттуда не пропадало, потому что никому не было нужно.

Вечером он вышел за плетень.

Деревня лежала перед ним вдоль дороги, и в сумерках было видно, как далеко она растянулась. Когда их сюда посадили, дворов было мало, и стояли они тесно, кучей, как ставят те, кто ещё боится земли. Теперь дворы шли врозь, широко, каждый сам по себе, и между ними лежали свои огороды, свои прогоны, свои межи.

Ему говорили: сорок дворов.

Он никогда не считал. Он знал, что не сорок, — но говорить об этом было не с кем и незачем.

За деревней, где кончались поля, стоял лес, и в лесу бил родник, и над родником не было ничего. Ни камня, ни знака. Бури ходил туда редко, реже с каждым годом, потому что ноги стали плохи, а дорога шла под уклон и назад в гору.

Он постоял, глядя на дым над дворами.

Всё было хорошо. Хлеб убран, дети сыты, зима идёт как всегда. Придёт бумага, покажут бумагу, бумага сойдётся — и всё останется, как стоит.

Полдня пути до Тракая. Мера, положенная когда-то для тех, кто спал в седле и выходил в ночь по одному слову. Выходили и теперь — в свой черёд, с обозом, отпросившись у жены.

Бури вернулся в дом, к огню.

Ночью ему не спалось, и он сам не понял почему.

Он лежал и слушал, как ходит ветер по соломе, и думал не о грамоте — о деде.

Дед умер осенью, у воды, один. Бури тогда служил и приехал на девятый день; ему рассказали, что старика нашли сидящим лицом к роднику, и что рядом был прогоревший костерок, и в нём — обугленное, чего никто не тронул. Могила была на мизаре, под безымянным камнем, каких там половина. Бури знал, который. Но ходил туда редко тоже.

Он вспомнил, ни к чему, как дед последний раз при нём говорил долго. Сидели вдвоём, при лучине, и дед вёл имена, а Бури слушал и потом придумал хорошее: записать. И записал. Старательно, ровно, как хвалил мулла. И увёз бумагу, и обещал спрятать хорошо.

Он спрятал.

Бури лежал в темноте, семидесяти четырёх лет, и вдруг — впервые за полвека — подумал, что не помнит куда.

Потом подумал, что это неважно: в сундук, куда же ещё.

И уснул.

Глава вторая. Легенда

Про сорок сыновей Бури услышал впервые от чужого.

Это было давно, лет двадцать назад, на торгу в Тракае. Купец, узнав, откуда он, обрадовался и сказал: а, это где сорок братьев. И засмеялся хорошо, без обиды, как смеются складному.

Бури тогда не понял и переспросил.

Купец рассказал охотно, потому что рассказывать было приятно: будто первому татарину, что сел на этой земле, старый князь дозволил держать веру свою и обычай свой, какой есть, — и жён по обычаю, сколько положено. И было у него четыре жены. И каждая родила по десять сыновей. И стало сорок дворов, и деревню назвали по счёту.

— Складно, — сказал Бури.

— Так и есть, — сказал купец.

Он привёз это домой, как привозят гостинец, — рассказать за столом, посмеяться.

Смеяться не стали. Старший сын, Абрагим, послушал и сказал: да, так и говорят. Жена сказала: и хорошо, что говорят. А младшие подхватили сразу, и уже к весне Бури услышал это на своём же дворе, от своих же, — не как чужую байку, а как своё.

Оно осело так, как оседает всё удобное: без спора, без утверждения, просто заняв место, где раньше не было ничего. Никто не решал в него верить. Просто на вопрос «почему Сорок Татар» надо было что-то отвечать, а другого ответа не было.

Бури помнил: когда они обжились здесь, дворов было двадцать два. Мальчишкой он бегал по всем дворам, знал в каждом собаку и хозяина. Он мог бы их перечислить и теперь, если бы кто спросил.

Среди них были люди с Ворсклы, разных родов, уцелевшие вместе. Были и те, кто поселился здесь раньше.

Половина была без семей. Семьи остались там, где остались.

Женились здесь. Кто на своих, кто на местных, кто на пленных, и через два поколения уже не разобрать было, кто откуда пришёл, — все стали свои, и кровь перемешалась так, что и правда получалось вроде родни. Может, оттого легенда и легла так легко. Она не врала совсем. Она врала в главном: будто это было родство сразу, от начала, по крови, — а не то, что получилось потом, из чужих, от нужды и соседства.

Он сказал об этом Исламу.

Не нарочно, а к слову: сидели, чинили упряжь, и внук помянул, что вот, мол, сорок дворов — как от начала стояло, так и стоит.

— Не сорок, — сказал Бури. — Двадцать два.

Ислам поднял голову.

— Когда?

— Когда сели.

— А сорок?

— Сорок — это купец в Тракае складно сказал.

— Деда, — сказал Ислам, — так же лучше.

И вернулся к упряжи.

Бури не стал говорить дальше.

Он вспомнил — не сразу, а как всплывает со дна, когда воду качнули, — как сам сидел при лучине, молодой, с пером, и говорил деду: дай запишу, чтобы не пропало. И как дед не ответил сразу.

Тогда он думал, что нашёл, как деду помочь.

К осени легенду стали рассказывать при чужих.

Приезжал ли кто из Вильни, останавливался ли обоз — обязательно кто-нибудь да выложит про сорок сыновей, и гости слушали, и одобряли, и увозили дальше. Это было доброе, приветливое вранье, каким встречают у порога; никто с него ничего не имел, кроме удовольствия.

Мулла её не любил. Старый Хасан, общинный, служивший тут дольше всех, морщился и говорил, что многожёнство законом дозволено, но не для счёта дворов, и что мешать закон с побасенкой — грех невеликий, а неопрятность большая.

Его слушали и продолжали рассказывать.

Потом он подумал, что место всё-таки было. Двадцать два человека, дошедших до этой земли своим ходом, каждый со своим горем за спиной, — они стояли на этом месте, пока их не заслонили сорок сыновей, которых не было.

И что их имён он тоже назвать не может. Он помнил дворы, собак и хозяев — как их звали, помнил не всех.

Он повернулся на другой бок.

До Филиппова дня оставалось три недели.

Глава третья. Сундук

Искать взялись на Покров, всей роднёй, будто на работу.

Пришли сыновья — Абрагим со старшим, Мустафа, — пришли невестки, пришёл Ислам, потому что он грамотный и разберёт. В доме стало тесно и весело, как бывает, когда дело кажется недолгим.

Сундук стоял в углу под тряпьём и на памяти Бури не открывался ни разу целиком. Открывали край, клали, закрывали. Он был окован, тяжёл, и когда Абрагим с Мустафой оттащили его на середину, под ним на полу остался чистый квадрат, светлее пола вокруг.

— Полвека стоял, — сказал Абрагим.

— Больше, — сказал Бури.

Он сидел у огня и не подходил. Ему было любопытно, и он не хотел показывать, что любопытно.

Сверху лежало то, что клали последним: рубаха деда Абрагимова тестя, ножны без сабли, свёрток с чем-то женским, что невестки тут же разобрали и заспорили. Потом пошло глубже, и разговоры стали реже. Пахло пылью и старой шерстью, и этот запах был как из другого дома.

Бумаги нашлись у самого дна, в холстине.

Их было немного. Абрагим вытащил всю связку разом и положил на лавку, и все склонились, и сразу стало ясно, что смотреть будет один Ислам.

— Тут четыре, — сказал внук.

Первая была не грамота.

Купчая, что ли, — на что-то мелкое, на лошадь или на угодье, писанная лет тридцать назад, и не на здешнее имя. Ислам прочёл вслух, спотыкаясь. Никто не понял, откуда она у них.

— Може, за долг взяли, — сказал Мустафа.

Отложили.

Вторая была обгорелая. Не сгоревшая — прихваченная по краю, будто её вынули из огня рукой. Половины не было. Того, что осталось, хватало понять, что это княжье и старое: остаток печати, остаток формулы. Имён на уцелевшем куске не было ни одного.

— Пожар был? — спросил Ислам.

Все посмотрели на Бури.

— Не помню пожара, — сказал он.

И это была правда. Пожара он не помнил. А обгорелая бумага лежала.

Третья была целая и хорошая — на добром пергамене, с печатью, — и это была она. Все обрадовались вслух. Ислам поднёс к свету и стал читать медленно, вслух, и на третьей строке замолчал.

— Что? — сказал Абрагим.

— Тут имя.

— Ну.

— Хасан, сын Мансура.

Молчание было недолгое, но было.

— Кто это? — спросил Мустафа.

Никто не знал. Не мулла Хасан — тому лет шестьдесят с малым, а грамота старше. Хасан, сын Мансура. Держатель. Земля отведена ему.

— Родня? — Абрагим повернулся к отцу.

Бури смотрел в огонь.

— Может, — сказал он.

Он перебирал в себе — Мансур, Мансур, — и в нём не отзывалось ничего. Не было такого имени в дворе, не было в соседях, не было среди тех, кого он знал мальчишкой. Оно было чужое, как купчая.

Или было. Он не мог поручиться. Шестьдесят два года — другая жизнь.

— Так земля-то наша, — сказал Мустафа. — Мы на ней сидим.

— Сидим, — согласился Абрагим.

— Значит, наша.

Это было сказано твёрдо, и все согласились, и на этом успокоились. Тем, кто сидит на земле шестьдесят лет, трудно поверить, что бумага может сказать иначе, чем говорит колодец, могилы и хлеб.

Четвёртая бумага была не пергамен, а лист.

Мягкий, серый, дешёвый, сложенный вчетверо, и на сгибах он расходился. Ислам развернул его осторожно и сразу отдал деду:

— Это не грамота.

Бури взял.

Он узнал её раньше, чем увидел написанное, — по тому, как она легла в руку, по формату, по тому, что сгиб был его собственный, сделанный давно на колене. Пальцы вспомнили прежде глаз.

— Что там? — спросил Абрагим.

— Ничего, — сказал Бури. — Старое.

Он держал лист и смотрел.

Строчки шли ровно, тесно, столбиком — по одному слову в строке. Он видел, что писано хорошо, старательно, с нажимом, с петлями внизу, как учили. Он и правда писал ровно. Мулла хвалил.

Он смотрел на первое слово и не мог его прочесть.

Это было не так, будто он забыл грамоту. Грамоту он не забыл — он и теперь разбирал, что писал Ислам, когда тот вёл счёт по хозяйству. Дело было в письме. Так писали тогда, полвека назад, тем начертанием, каким его учил мулла в становище, — и он писал ещё по-своему, торопясь, мальчишеской рукой, и половину букв тянул не так.

А чернила выцвели. И бумага была дешёвая, и на сгибах строки перебило.

Он разбирал отдельное: вот эта петля — «м», вот это, кажется, «р». Из петель не складывалось имя. Складывалось что-то похожее на имя, и это было хуже, чем ничего.

Он перевёл глаза ниже. Ещё ниже. Строчек было много, десятка четыре, и они шли, ровные, старательные, красивые — и молчали.

Внизу стояла точка. Он помнил, как её ставил.

— Деда.

Он поднял голову. Все смотрели на него.

— Что там? — повторил Абрагим.

Бури свернул лист по старым сгибам.

— Дед мой диктовал, — сказал он. — Имена. Я записывал.

Абрагим оживился:

— Так это же нам и надо! Ислам, глянь.

Внук протянул руку.

Бури не отдал.

Он сам не понял, почему не отдал, — рука не пошла. Он держал лист у груди и говорил ровно, и то, что он говорил, было правдой, только не всей:

— Тут не про землю. Тут род. Землю по этому не считают.

— А всё ж таки…

— Не про землю, — сказал Бури.

Абрагим пожал плечами. Он не был упрям с отцом.

Разбирали ещё до темноты и больше ничего не нашли.

Сложили обратно, стащили сундук в угол, накрыли тряпьём. Мустафа сказал, что надо съездить к Сафару — может, у них полнее. Абрагим сказал, что и у Сафара то же самое, он уже спрашивал. Невестки собрали ужин, и за ужином говорили уже о другом, потому что до Филиппова дня было ещё две недели, а две недели — это долго.

Бури просидел до конца и ушёл к себе рано.

У себя он сел к лучине.

Он развернул лист опять и держал его к свету — так, эдак, ближе, дальше. Свет ничего не менял. Дело было не в глазах, глаза у него были ещё сносные, дальнозоркие по-стариковски, ему как раз далёкое было видно лучше.

Он смотрел на своё письмо, красивое и ровное, и думал очень простую вещь, которую додумывал медленно, потому что она входила туго.

Он держал в руках то, ради чего в тот вечер попросил у деда имена.

Он сберёг это. Не потерял, не сжёг, не отдал. Пронёс через полвека, через две войны, через два дома, — и оно лежало, как он обещал, спрятанное хорошо.

И оно ничего не сберегло.

Он вспомнил, как дед не ответил сразу.

Тогда он подумал, что старик обрадовался и не нашёлся. Теперь он думал другое и не мог додумать до слов — слов не было. Было только: дед знал. Сидел рядом, смотрел, как ложатся буквы, и знал.

И согласился.

Бури держал лист и не понимал, зачем дед согласился. Если знал — почему не сказал? Одно слово, и мальчишка бы отложил перо.

Он сидел с этим долго и не нашёл ответа, потому что ответ был в том, чего он тогда не мог видеть, а теперь видел каждый день: старику нечем спорить с молодым, который делает доброе. Нечем и не за что.

Лучина догорала.

Он свернул лист, но не убрал в сундук. Он положил его за пазуху, под рубаху, к телу.

Он сказал себе, что убережёт до Филиппова дня — вдруг понадобится. Это было объяснение, и оно было ложным, и он это знал.

Он просто не хотел, чтобы это прочёл Ислам.

А потому, что Ислам прочтёт — и тоже не разберёт, и скажет ласково: деда, тут ничего не видно, — и на этом всё кончится совсем. Пока лист лежит непрочитанный у Бури на груди, в нём ещё что-то есть.

Он лёг и долго не спал.

За стеной ходил ветер. До Филиппова дня оставалось четырнадцать дней.

Глава четвёртая. Двое

За грамотами ездили в Тракай — узнать, как быть тем, у кого не сошлось.

Поехал Абрагим, взял Ислама для письма и старика взял тоже, хотя старику ехать было незачем. Бури сам напросился. Он сказал, что помнит, как давали, и его послушали, потому что старика в таком деле возить положено.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.